

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Б70

Предисловие *Дмитрия Быкова*

Иллюстрация на переплете *Анны Рысухиной*

Иллюстрация в марке серии:

© bsd / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Блок, Александр Александрович.

Б70

Стихотворения / Александр Блок ; предисловие Дмитрия Быкова. — Москва : Эксмо, 2020. — 384 с.

ISBN 978-5-04-109155-2

Благоговейные гимны в честь несравненной Дамы, пронзительные стихотворения о России, стихотворения из знаменитых циклов «Стихи о Прекрасной Даме», «Снежная маска», «На поле Куликовом», «Страшный мир», «Кармен», «Итальянские стихи» и многих других вошли в эту книгу. «Трилогия вочеловечения», составленная Блоком, как и каждый блоковский цикл, — великое событие в русской поэзии, и каждое стихотворение — неотъемлемая часть этого события.

Тема былой возвышенной любви, былого счастья, навсегда утерянного Света проходит через все творчество поэта. Символисты ждали второго пришествия Христа, а началась революция...

«Блок — союз, всеобъединяющая, всесильная музыка...» — пишет Дмитрий Быков в статье «Нерушимый Блок», открывающей эту книгу.

УДК 821.161.1-1

ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Быков Д.Л., вступительное слово, 2002

© Оформление. ООО «Издательство

ISBN 978-5-04-109155-2

«Эксмо», 2020

НЕРУШИМЫЙ БЛОК

«Я художник, а следовательно, не либерал», — писал Блок в мае восемнадцатого года, отвечая на одну из бесчисленных тогдашних анкет. В последних пароксизмах свободная печать (в мае прикрытая временно, в июле окончательно) обсуждала единственный вопрос: может ли все-таки интеллигенция сотрудничать с большевиками? «Может и должна», — ответил Блок в январе тремя словами; спустя четыре месяца, для неосуществившегося журнала «Печать и революция», он высказался более развернуто, но и там — по вечной своей неспособности объяснять и расшифровывать — заметил, что обосновывать этот тезис не время и не место. Художник — не либерал, вот и все.

Попробуем сделать это за него, тем более что к нашим услугам его позднейшие фельетоны, яростные дневниковые записи, письма с редкими, но драгоценными проговорками. Все это давно уже процитировано, но требует нового ос-

мысления — как, впрочем, и вся русская история и русская же литература: пройдя через соблазны тоталитаризма и либерализма, она в который раз получает шанс беспристрастно разобраться в себе — и, боюсь, как всегда, этим шансом не воспользуется.

В разные эпохи читатель понимает разные блоковские тексты: почти вся лирика до 1910 года прекрасно понималась в первой половине восьмидесятых, я хорошо это помню — и не только потому, что самому мне было тогда пятнадцать-семнадцать лет (самое «блоковское» время), но и потому, что времена были мистические, пусть с поправкой на бесконечную советскую пошлость. Крах империи, ее сумерки — всегда великолепное время, которое одно способно эту империю оправдать; я помню атмосферу той бесконечно поэтической эпохи, когда вдруг стали очень сильно писать лучшие наши авторы. Неизменно чуткий Окуджава пережил вторую молодость, написав в 1982–1984 годах не меньше тридцати превосходных песен; прогремел молодой Щербаков, в узких кругах стал известен Гандлевский. Тогда же — а вовсе не в начале перестройки — Захаров снял «Свифта», бесспорно самую глубокую свою кар-

тину, а Абуладзе на «Грузия-фильме» в обстановке строгой секретности закончил «Покаяние»; и то, и другое легло на полку, но оба автора знали, что это ненадолго. Я хорошо помню тогдашнюю полубогемную Москву, пустые сумеречные коридоры Школы юного журналиста при МГУ, где широко ходили ксерокопии самых разных сочинений — от эзотерики до «Лолиты»; помню школьные и студенческие театры-студии с непризнанными гениями во главе (очки, свитер, странности), помню невыносимое, почти эротическое напряжение той жизни — предвкушение, предчувствие, истончение ткани бытия, сквозь которую уже просвечивает несказанное. Всякая тогдашняя осень с ее сырым, рыжим и серым простором и гудками далеких паровозов (я жил и живу на Мосфильмовской, недалеко от железнодорожных путей), всякая весна с ее «синей глубиью» — никогда потом я не видел неба такого цвета, — все было полно великих и, в сущности, неисполнимых обещаний; и как же тогда читался Блок! Тогда я мог любое его стихотворение из первого тома синего двухтомника (Орлов — составитель, 1955) продолжить с любого места. Моя жена, тогда новосибирская старшеклассница, младше меня на год, в то же са-

мое лето восемьдесят третьего года впервые прочла «Короля на площади» — и оба мы, ничего друг о друге не зная, лучше всего запомнили самых таинственных ее персонажей: «Слухи, маленькие, красные, шныряют в густой толпе».

Трудно сегодня представить старшекласника, читающего Блока, — не легче, пожалуй, чем представить тогдашнего выпускника, нюхающего кокаин. Но у нас был свой кокаин, не хуже вашего, и даже с менее опасными последствиями. «Король на площади» был тогда про нас — он сидел над городом, дряхлый, весь в трещинах, и все давно догадались, что он каменный. И, разумеется, ждали кораблей, которые придут и принесут что-то такое, такое, такое...

Вспомним едва ли не самое знаменитое стихотворение первой половины века: даже сейчас, когда чтение Блока приносит мне прежде всего боль — с такой болью отдирается от раны присохший бинт, — я вздрагиваю от наслаждения при мысли, что мне предстоит перепечатать этот текст:

«Ты помнишь: в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда. Четыре — серых. И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили

важно мимо нас... Мир стал заманчивей и шире. Но вдруг — суда уплыли прочь. Нам было видно: все четыре зарылись в океан и в ночь. И вновь то-скливо стало море, маяк уныло замигал, когда на низком семафоре последний отдали сигнал.

Как мало в этой жизни надо нам, детям, — и тебе, и мне! Ведь сердце радоваться радо и самой малой новизне. Случайно на ноже карманном най-ди пылинку дальних стран — и мир опять пред-станет странным, закутанным в цветной туман».

Это хрестоматийный текст (особенно всех до-стала, я думаю, «пылинка дальних стран», которая попала в тысячу заголовков, светящихся розовой пионерской романтикой), — но истинный его смысл страшен. Трагедия-то в том, что стихи на-писаны от лица ребенка, живущего в Турине, где Блок незадолго до первой мировой войны увидел те самые военные суда, внезапно зашедшие в мир-ную, затхлую, зеленую бухту. Эти «четыре серых» были предвестниками конца света, по крайней мере — конца Европы. Но что ты будешь делать — живет ребенок в маленьком скучном городе, где только и счастья, что приход нового корабля; он ждет кораблей, как герои «Короля на площади», и тут, о радость, они являются! Господи, воисти-

ну — как мало в этой жизни надо нам, детям; ведь дети всегда кричат: «Ура, война!» Им совершенно невдомек, что они погибнут первыми. Самое светлое, самое музыкальное стихотворение Блока написано о крушении мира: думаю, что, заканчивая этот текст, он уже прекрасно понимал, чему радовался. «Сердце радоваться радо и самой малой новизне» — даже такой, как гибель, и может быть, такой — в особенности. Вот чем оплачена музыка этих стихов — и вот что всегда выплывает из цветного тумана, когда в него вглядываются дети, уставшие от обиденности.

Мы тоже вглядывались и тоже ждали; и к нам выплыло.

К нам выплыло очередное упрощение и оголение жизни, и сведение ее к выживанию, и пожары на окраинах, и обнищание интеллигенции, грозящее полным ее исчезновением, и бессмысленные войны, и политическая невнятица, и торжество идиотов, и две русских революции, которые всегда ходят парами, — то есть революция и контрреволюция, если называть вещи своими именами; корабли оказались не странствующими, а военными и торговыми, и торговые наполнены были такой второсортной дрянью, выдаваемой за последний

писк западной одежной, культурной и философской моды, что многих из нас стошнило на пирс. Русский двадцатый век оказался симметричен относительно середины: первые и последние его двадцатилетия были одинаково бурны — и одинаково позорны. Можно было по-блоковски повторить «Но не эти дни мы звали, а грядущие века»; но это не спасало от разочарования и, риску сказать, перерождения. Жить стоит только во времена перемен, а точнее — в переходные, промежуточные месяцы, когда история застывает в равновесии, в неопределенности. Кроме этих точек перехода, все в моей жизни было неинтересно.

И после двадцати пяти лет я перестал понимать Блока.

Я перестал даже его читать — так, изредка прозу. С тем, что хранилось в памяти, ничего уже нельзя было сделать, и оно всплывало, по поводу и без повода. Чаще всего — совсем сухие, короткие стихи двенадцатого-пятнадцатого годов (цикл «Кармен» мне никогда особенно не нравился, кроме разве нескольких божественных строчек — вроде «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь» — с восхитительной грамматической

неправильностью). Читать Блока было так же больно, как вспоминать свои иллюзии, как раскаиваться в том, что — вот это ты звал, вот это ты приветствовал и за это отвечаешь, а между тем новые времена, тобою вымечтанные, тебя съедят первого. «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

Блок собирался написать — но так и не написал — вторую поэму, такую же пару к «Двенадцати», какой был русский октябрь к русскому же февралю. Вещь эта, куда более скептическая по тональности, чем вихревая поэма о патруле, должна была называться «Русский бред»; и там было сказано главное обо всех революциях:

Есть одно, что в ней скончалось
Безвозвратно...
Но нельзя его оплакать
И нельзя его почтить,
Потому что там и тут,
В кучу сбившиеся тупо,
Толстопузые мещане злобно чтут
Дорогую память трупа:
Там и тут,
Там и тут...

Это мне как раз было не очень понятно году в восемьдесят девятом, но слишком понятно со второй воловины девяностых: то, ради чего делается всякая революция, — погибает в ней первым. Хорошее всегда хрупко. В истории, увы, не бывает борьбы хорошего с плохим: есть только борьба дурного с омерзительным. В любой борьбе гибнут оба ее участника — хотя бы потому, что добро в процессе трансформируется; в свое время меня поразила не помню уж чья картина века эдак семнадцатого — «Давид с головой Голиафа». Отрубленная голова Голиафа глядит на Давида спокойно, с сознанием исполненного долга и чуть ли не с состраданием. Все, мальчик, говорит она. Теперь Голиаф — ты. И в лице Давида, вместо гордой отчаянной решимости, проступает юношеская жестокость и усталая снисходительность: добро побеждает зло, фраза-перевертыш, верная для всех бинарных оппозиций. И вот, когда погибли — или переродились — оба борца, на пепелище недавней битвы возникает нечто третье. Пока еще единое и монолитное. Никем не предусмотренное. Очень страшное.

Так на пепелище борьбы русского марксизма и самодержавия вырос невиданный кактус боль-

шевизма — строй без идеологии, реконструкция империи под видом ее разрушения. Так на выжженной земле, на которой только что боролись славянофилы и западники, вырос прагматизм новой эпохи, нашей, нынешней — западное государственничество, безликая, пустоглазая эпоха, окончательно уравнившая брадатых почвенников и трусливых либералов. Они одинаково бездарны и одинаково бесполезны. Есть одно, что в ней, в России, скончалось безвозвратно — но нельзя его оплакать и нельзя его почитать: и так уже плачут и чтут все, кому не лень. Не хочется пополнять своим голосом этот хор, как Блоку не хотелось добавлять своего голоса в общий вой по России-матушке, стране белорыбицы и глянцевого символистских журналов, шальных денег и роковых женщин, медвежьих шуб и сумасшедших поэтов. Во всякой революции первой убивают Катюку. У Блока вообще с проститутками особые отношения — похоже, только они ему и нравились по-настоящему, и есть для него особое упоение в том, чтобы любить женщину, которая сейчас с другим («Зимний ветер играет терновником, задывая в окне свечу. Ты ушла на свиданье с любовником, я один, я не сплю, я молчу»). «Незна-

комка» — тоже ведь о женщине сомнительного поведения, волшебнo преображенной в пьяном бреду: истина — в вине, потому что стрезва тут смотреть не на что. Эту женщину, это единственное, что тут было приличного, эту идею, которую в России непременно пускают по рукам, — всегда убивают первой; и потому, принимая происходящее, уносясь во всякого рода снежных бурях и растворяясь в ночах, надо помнить, какой ценой за это заплачено. Есть одно, что в ней скончалось безвозвратно, одно, ради чего и стоило жить... но этого сочинения он не дописал, потому что в нем был бы приговор. Поэт всегда все о себе знает, но не всегда находит в себе мужество сказать.

И все-таки: я художник, а следовательно — не либерал. Это нуждается в пояснении, поскольку слово «либерал» у нас не менее захватано, чем слово «патриот». Почти все патриоты у нас — Прохановы, почти все либералы — Зорины; это лишний раз доказывает, что оппозиция патриотизма и либеральности снята и все мы живем накануне появления каких-то новых, куда более великих оппозиций. Я не смею пока их назвать, чтобы не опозлать.

Но условимся понимать под либералами — людей, для которых человек есть мера всех вещей;